

Том 1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Наше время снова обильно мемуарами, может быть, более чем когда-либо. Это потому, что есть о чем рассказывать. Интерес к текущей истории тем напряженнее, чем драматичнее эпоха, чем богаче она поворотами. Искусство пейзажа не могло бы родиться в Сахаре. «Пересеченные» эпохи, как наша, порождают потребность взглянуть на вчерашний и уже столь далекий день глазами его активных участников. В этом — объяснение огромного развития мемуарной литературы со времени последней войны. Может быть, в этом же можно найти оправдание и для настоящей книги.

Сама возможность появления ее в свет создана паузой в активной политической деятельности автора. Одним из непредвиденных, хотя и не случайных этапов моей жизни оказался Константинополь. Здесь я нахожусь на бивуаке — не в первый раз, — терпеливо дожидаясь, что будет дальше. Без некоторой доли «фатализма» жизнь революционера была бы вообще невозможна. Так или иначе константинопольский антракт явился как нельзя более подходящим моментом, чтобы оглянуться назад, прежде чем обстоятельства позволят двинуться вперед.

Первоначально я написал беглые автобиографические очерки для газет и думал этим ограничиться. Отмечу тут же, что я не имел возможности следить из своего убежища

за тем, в каком виде эти очерки дошли до читателя. Но каждая работа имеет свою логику. Я вошел в свою тему лишь к тому моменту, когда заканчивал газетные статьи. Тогда я решил написать книгу. Я взял другой, несравненно более широкий масштаб и произвел всю работу заново. Между первоначальными газетными статьями и этой книгой общим является только то, что они говорят об одном и том же предмете. В остальном это два разных произведения.

С особенной обстоятельностью я остановился на втором периоде советской революции, начало которого совпадает с болезнью Ленина и открытием кампании против «троцкизма». Борьба эпигонов за власть, как я пытаюсь показать, была не только личной борьбой. Она выражала собою новую политическую главу: реакцию против Октября и подготовку термидора. Из этого сам собою вытекает ответ на вопрос, который так часто задавали мне: «Как вы потеряли власть?»

Автобиография революционного политика затрагивает по необходимости целый ряд теоретических вопросов, связанных с общественным развитием России, отчасти и всего человечества, в особенности же с теми критическими периодами, которые называются революциями. Разумеется, я не имел возможности рассматривать на этих страницах сложные теоретические проблемы по существу. В частности, так называемая теория перманентной революции, которая играла в моей личной жизни такую большую роль и которая, что важнее, приобретает теперь столь острую актуальность для стран Востока, проходит через эту книгу как отдаленный лейтмотив. Если это не удовлетворит читателя, то я могу лишь сказать ему, что рассмотрение проблем революции по существу составит содержание особой книги, в которой я попытаюсь подвести важнейшие теоретические итоги опыта последних десятилетий.



Так как на страницах моей книги проходит немалое количество лиц не всегда в том освещении, которое они сами выбрали бы для себя или для своей партии, то многие из них найдут мое изложение лишенным необходимой объективности. Уже появление отрывков в периодической печати вызвало кое-какие опровержения. Это неизбежно. Можно не сомневаться, что, если б мне удалось даже сделать автобиографию простым дагерротипом моей жизни, к чему я вовсе не стремился, — она все равно вызвала бы отголоски тех прений, которые порождались в свое время излагаемыми в ней коллизиями. Но эта книга не бесстрастная фотография моей жизни, а ее составная часть. На этих страницах я продолжаю ту борьбу, которой посвящена вся моя жизнь. Излагая, я характеризую и оцениваю; рассказывая, я защищаюсь и еще чаще — нападаю. Мне думается, что это единственный способ сделать биографию объективной в некотором более высоком смысле, т.е. сделать ее наиболее адекватным выражением лица, условий и эпохи.

Объективность — не в притворном безразличии, с каким хорошо отстоявшееся лицемерие говорит о друзьях и врагах, внушая читателю косвенно то, что неудобно сказать ему прямо. Такого рода объективность есть лишь светская ловушка, не более того. Мне она не нужна. Раз уж я подчинился необходимости говорить о себе — никому еще не удавалось написать автобиографию, не говоря о себе, — то у меня не может быть оснований скрывать свои симпатии и антипатии, свою любовь и свою ненависть.

Эта книга полемична. Она отражает динамику той общественной жизни, которая вся построена на противоречиях. Дерзости школьника учителю; прикрытые любезностью салонные шпильки зависти; непрерыв-

ная конкуренция торговли; остервенелое соревнование на всех поприщах техники, науки, искусства, спорта; парламентские стычки, в которых пульсирует глубокая противоположность интересов; повседневная неистовая борьба печати; стачки рабочих; расстрелы демонстрантов; пироксилиновые чемоданы, посылаемые по воздуху цивилизованными соседями друг другу; пламенные языки гражданской войны, почти не потухающие на нашей планете, — все это разные формы социальной «полемики», от обыденной, повседневной, нормальной, почти незаметной, несмотря на свою напряженность, — до чрезвычайной, взрывчатой, вулканической полемики войн и революций. Такова наша эпоха. С ней вместе мы выросли. Ею мы дышим и живем. Как же мы можем не быть полемичны, если хотим быть верны нашему отечеству во времени?

* * *

Но есть другой, более элементарный критерий, который касается простой добросовестности в изложении фактов. Как самая непримиримая революционная борьба должна считаться с обстоятельствами места и времени, так и наиболее полемическое произведение должно соблюдать те пропорции, которые существуют между вещами и людьми. Хочу надеяться, что это требование мною соблюдено не только в целом, но и в частях.

В некоторых, немногочисленных, правда, случаях я излагаю беседы в форме диалога. Никто не станет требовать дословного воспроизведения бесед много лет спустя. Я на это и не претендую. Некоторые диалоги имеют скорее символический характер. Но у всякого человека в жизни были моменты, когда тот или другой разговор особенно ярко врезывался в его память. Такие беседы обыкновенно пересказываешь не раз своим близким

и политическим друзьям. Благодаря этому они закрепляются в памяти. Я имею в виду, разумеется, прежде всего беседы политического характера.

Хочу отметить здесь, что я привык доверять своей памяти. Показания ее не раз подвергались объективной проверке и с успехом выдерживали ее. Здесь необходима, впрочем, оговорка. Если моя топографическая память, не говоря уж о музыкальной, очень слаба, а зрительная, как и лингвистическая, довольно посредственна, то идейная память значительно выше среднего уровня. Между тем в этой книге идеи, их развитие и борьба людей из-за этих идей занимают, в сущности, главное место.

Правда, память не автоматический счетчик. Она меньше всего бескорыстна. Нередко она выталкивает из себя или отодвигает в темный угол такие эпизоды, какие невыгодны контролирующему ее жизненному инстинкту, чаще всего под углом зрения самолюбия. Но это уж дело «психоаналитической» критики, которая иногда бывает остроумна и поучительна, но еще чаще — капризна и произвольна.

Незачем говорить, что я настойчиво контролировал свою память через посредство документальных свидетельств. Как ни затруднены были для меня условия работы, в смысле библиотечных и архивных справок, я имел все же возможность проверить все наиболее существенные обстоятельства и даты, в которых нуждался.

Начиная с 1897 г. я вел борьбу преимущественно с пером в руках. Таким образом, события моей жизни оставили почти непрерывный печатный след на протяжении 32 лет. Фракционная борьба в партии начиная с 1903 г. была обильна личными эпизодами. Мои противники, как и я, не щадили ударов. Все они оставили печатные рубцы. Со времени Октябрьского переворота история революционного движения заняла большое место в исследованиях молодых советских ученых и целых учреждений. Разу-

скивается в архивах революции и царского департамента полиции все, что представляет интерес, и издается с обстоятельными фактическими комментариями. В первые годы, когда еще не было нужды что-либо скрывать или маскировать, эта работа производилась с полной добросовестностью. «Сочинения» Ленина и часть моих выпущены государственным издательством с примечаниями, занимающими десятки страниц в каждом томе и заключающими незаменимый фактический материал как о деятельности авторов, так и о событиях соответственного периода.

Все это, естественно, облегчало мою работу, помогая установить правильную хронологическую канву и избежать фактических ошибок, по крайней мере грубых.

* * *

Я не могу отрицать того, что моя жизнь протекала не совсем обычным порядком. Причины этого надо, однако, искать больше в условиях эпохи, чем лично во мне. Разумеется, нужны были также и известные личные черты, чтобы выполнять ту, хорошую или дурную, работу, которую я выполнял. Но при других исторических условиях эти личные особенности могли бы мирно дремать, как дремлет бесчисленное количество человеческих склонностей и страстей, на которые общественная обстановка не предъявляет спроса. Зато могли бы, может быть, проявиться другие качества, которые оттеснены или подавлены ныне. Над субъективным возвышается объективное, и оно в последнем счете решает.

Моя сознательная и активная деятельность, начавшаяся примерно с 17–18-летнего возраста, протекала в постоянной борьбе за определенные идеи. В моей личной жизни не было никаких событий, которые сами по себе

заслуживали бы общественного внимания. Все сколько-нибудь из ряда вон выходящие факты моего прошлого связаны с революционной борьбой и от нее получают свое значение. Только это обстоятельство и может оправдать появление в свет моей автобиографии.

Но из этого же источника вытекают и затруднения для автора. Факты личной жизни оказались настолько тесно вплетены в ткань исторических событий, что трудно отделить одно от другого. Между тем эта книга все же не исторический труд. События взяты не по их объективной значимости, а в зависимости от того, как они были связаны с фактами личной жизни. Не мудрено, если в характеристике отдельных событий и целых этапов нет той пропорциональности, которой должно было бы требовать, если бы книга представляла собою исторический труд. Водораздел между автобиографией и историей революции приходилось нащупывать эмпирически. Не растворяя жизнеописания в историческом исследовании, необходимо, однако, было дать читателю опору в фактах общественного развития. Я исходил при этом из того, что основные контуры больших событий известны читателю и что его память нуждается только в кратких напоминаниях об исторических фактах и об их последовательности.

* * *

К моменту выхода в свет этой книги мне исполнится 50 лет. День моего рождения совпадает с днем Октябрьской революции. Мистики и пифагорейцы могут из этого делать какие угодно выводы. Сам я заметил это курьезное совпадение только через три года после Октябрьского переворота. До 9 лет я жил безвыездно в глухой деревне. Восемь лет учился в средней школе. Арестован был в первый раз через год после окончания ее. Университетами служили

для меня, как и для многих моих сверстников, тюрьма, ссылка, эмиграция. В царских тюрьмах я сидел в два приема около четырех лет. В царской ссылке провел первый раз около 2-х лет, второй раз — несколько недель. Дважды бежал из Сибири. В эмиграции прожил в два приема около 12 лет в разных странах Европы и Америки, два года до революции 1905 г. и почти десять лет после ее разгрома. Во время войны был заочно приговорен к тюремному заключению в гогенцоллернской Германии (1915 г.); был в следующем году выслан из Франции в Испанию, где после короткого заключения в мадридской тюрьме и месячного пребывания под надзором полиции в Кадиксе был выслан в Америку. Там меня застигла февральская революция. По дороге из Нью-Йорка я был в марте 1917 г. арестован англичанами и содержался месяц в концентрационном лагере в Канаде. Я участвовал в революциях 1905 и 1917 гг., был председателем Петербургского Совета депутатов в 1905 г., затем в 1917 г. Я принимал близкое участие в Октябрьском перевороте и был членом советского правительства. В качестве народного комиссара по иностранным делам вел мирные переговоры в Брест-Литовске с делегациями Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. В качестве народного комиссара по военным и морским делам я посвятил около пяти лет организации Красной армии и восстановлению Красного флота. В течение 1920 г. я соединял с этим руководство расстроеной железнодорожной сетью.

Главное содержание моей жизни — за вычетом годов Гражданской войны — составляла, однако, партийная и писательская деятельность. Государственное издательство приступило в 1923 г. к изданию собрания моих сочинений. Оно успело выпустить тринадцать книг, не считая вышедших ранее пяти томов военных работ. Издание было приостановлено в 1927 г., когда гонения против «троцкизма» стали особенно ожесточенными.

В январе 1928 г. я был отправлен нынешним советским правительством в ссылку, провел год на границе Китая, был в феврале 1929 г. выслан в Турцию, пишу эти строки в Константинополе.

Даже в этом конспективном изложении внешнее течение моей жизни никак нельзя назвать монотонным. Наоборот, по числу поворотов, неожиданностей, острых конфликтов, подъемов и спусков можно сказать, что жизнь моя скорее изобиловала «приключениями». Между тем позволю себе сказать, что по склонности я не имею ничего общего с искателями приключений. Я скорее педантичен и консервативен в своих привычках. Я люблю и ценю дисциплину и систему. Совсем не ради парадокса, а потому, что так оно и есть, я должен сказать, что не выношу беспорядка и разрушения. Я был всегда очень прилежным и аккуратным школьником. Эти два качества я сохранил и в дальнейшей жизни. В годы гражданской войны, когда я в своем поезде покрыл расстояние, равное нескольким экваторам, я радовался каждому новому забору из свежих сосновых досок. Ленин, знавший об этом моем пристрастии, не раз дружески подтрунивал над ним. Хорошо написанная книга, в которой можно найти новые мысли, и хорошее перо, при помощи которого можно сообщить собственные мысли другим, всегда были для меня — остаются и сейчас — самыми ценными и близкими плодами культуры. Стремление учиться никогда не покидало меня, и у меня много раз в жизни бывало такое чувство, что революция мешает мне работать систематически. Тем не менее почти треть столетия моей сознательной жизни целиком заполнена революционной борьбой, и если б мне пришлось начинать сначала, я не задумываясь пошел бы по тому же пути.

Мне приходится писать эти строки в эмиграции, третьей по счету, в то время, как ближайшие мои друзья заполняют места ссылки и тюрьмы Советской республики,

в создании которой они принимали решающее участие. Некоторые из них колеблются, отходят, склоняются перед противником. Одни потому, что морально израсходовались; другие потому, что не находят самостоятельно выхода из лабиринта обстоятельств; третьи — под гнетом материальных репрессий. Я два раза уже пережил такие массовые отходы от знамени: после крушения революции 1905 г. и в начале Мировой войны. Я достаточно близко знаю, таким образом, из жизненного опыта, что такое исторические приливы и отливы. Они подчинены своей закономерности. Голым нетерпением не ускоришь их смены. Историческую перспективу я привык рассматривать не под углом зрения личной судьбы. Познать закономерность совершающегося и найти в этой закономерности свое место — такова первая обязанность революционера. И таково вместе с тем высшее личное удовлетворение, доступное человеку, который не растворяет своих задач в сегодняшнем дне.

Принкипо, 14 сентября 1929 г.
Л. ТРОЦКИЙ

Глава 1

ЯНОВКА

Детство слывет самой счастливой порой жизни. Всегда ли так? Нет, счастливо детство немногих. Идеализация детства ведет свою родословную от старой литературы привилегированных. Обеспеченное, избыточное, безоблачное детство в наследственно богатых и просвещенных семьях, среди ласк и игр, оставалось в памяти, как залитая солнцем поляна в начале жизненного пути. Вельможи в литературе или плебеи, воспевавшие вельмож, канонизировали эту насквозь аристократическую оценку детства. Подавляющее большинство людей, поскольку оно вообще оглядывается назад, видит, наоборот, темное, голодное, зависимое детство. Жизнь бьет по слабым, а кто же слабее детей?

Мое детство не было детством голода и холода. Ко времени моего рождения родительская семья уже знала достаток. Но это был суровый достаток людей, поднимающихся из нужды вверх и не желающих останавливаться на полдороге. Все мускулы были напряжены, все помыслы направлены на труд и накопление. В этом обиходе детям доставалось скромное место. Мы не знали нужды, но мы не знали и щедростей жизни, ее ласк. Мое детство не представляется мне ни солнечной поляной, как у маленького меньшинства, ни мрачной пещерой голода, насилий и обид, как детство многих, как детство большинства. Это было сероватое детство в мелкобуржуаз-

ной семье, в деревне, в глухом углу, где природа широка, а нравы, взгляды, интересы скудны и узки.

Духовная атмосфера, окружавшая мои ранние годы, и та, в которой прошла моя дальнейшая сознательная жизнь, — это два разных мира, отделенные друг от друга не только десятилетиями и странами, но и горными хребтами великих событий и менее заметными, но для отдельного человека не менее значительными внутренними обвалами. При первом наброске этих воспоминаний мне не раз казалось, будто я описываю не свое детство, а старое путешествие по далекой стране. Я пытался даже вести рассказ о себе в третьем лице. Но эта условная форма слишком легко сбивается на беллетристику, т.е. на то, чего я прежде всего хотел бы избежать.

Несмотря на противоречие двух миров, единство личности переходит какими-то подспудными путями из одного в другой. Этим и объясняется, вообще говоря, интерес к биографиям и автобиографиям людей, которые по той или иной причине заняли несколько более пространное место в жизни общества. Я попробую поэтому с некоторой подробностью рассказать о своем детстве и своих школьных годах, ничего не предугадывая и не предрешая, т.е. не нанизывая факты на предвзятые обобщения, — просто так, как это было и как сохранила прошлое моя память.

Иногда мне казалось, что я помню, как сосал грудь матери. Надо думать, однако, что я просто перенес на себя то, что видел на младших детях. У меня были смутные воспоминания о какой-то сцене под яблоней в саду, которая разыгралась, когда мне было года полтора. Но и это воспоминание недостоверно. Наиболее твердо осталось в памяти такое происшествие: я с матерью в Бобринце, в семье Ц., где есть девочка двух или трех лет. Меня называют женихом, девочку — невестой. Дети играют в зале на крашеном полу, потом девочка исчезает, а маленький мальчик стоит один у комода, он переживает момент

остолбенения, как во сне. Входит мать с хозяйкой. Мать смотрит на мальчика, потом на лужицу возле него, потом опять на мальчика, качает укоризненно головой и говорит: «Как тебе не стыдно...» Мальчик смотрит на мать, на себя и затем на лужицу, как на нечто ему совершенно постороннее. «Ничего, ничего, — говорит хозяйка, — дети заигрались».

Маленький мальчик не испытывает ни стыда, ни раскаяния. Сколько ему тогда было? Должно быть, два года, но, может быть, и три.

Около того же времени я наткнулся на гадюку, гуляя с няней в саду. «Гляди, Лева, — сказала няня, показывая что-то блестящее в траве, — табачница зарыта в земле». Няня взяла палочку и стала раскапывать. Самой няне вряд ли было больше шестнадцати лет. Табачница развернулась, вытянулась в змею и с шипением поползла по траве. «Ай! ай!» — вскричала няня и, схватив меня за руку, быстро побежала прочь. Мне было трудно переставлять быстро ноги. Захлебываясь, я рассказывал потом, как мы думали, что нашли в траве табачницу, а оказалась гадюка.

Вспоминается еще ранняя сцена на «белой» кухне. Ни отца, ни матери дома нет. В кухне, кроме прислуги и кухарки, их гости. Старший брат, Александр, приехавший на каникулы, вертится тут же. Он становится обеими ногами на деревянную лопату, как на ходули, и долго пляшет на ней по земляному полу кухни. Я прошу брата уступить мне лопату, делаю попытку взобраться на нее, падаю и плачу. Брат поднимает меня, целует и на руках уносит из кухни.

Мне, должно быть, было уже года четыре, когда кто-то посадил меня на большую серую кобылу, смирную, как овца, без седла и без уздечки, только с веревочным недоуздом. Широко раскорячив ноги, я обеими руками держался за гриву. Кобыла тихо подвезла меня к грушевому дереву и прошла под веткой, которая пришлась мне по